

Понимающим в изобразительном искусстве, знакомым с творчеством художника, все было ясно давно. Талант — редкий. Мастер — выдающийся. А теперь, когда его нет с нами, думать по-другому могут только граждане, заведомо предвзятые или от природы плохо видящие.

Существенную часть своих произведений Джон Кудрявцев объединил в серию, над которой работал много лет. Он назвал ее «Земля снов». Были у него и другие серии. Побольше и поменьше, раньше и позже. Были работы вне серий, рождающиеся и живущие, казалось бы, особняком. Все они вырастали из «снов». Из художнических фантазий, из творческого воображения автора. Из его любви. Из его философии. Джон воплощал свои «сны» в живописные картины, в графические листы, придавая им зримость, осязаемую, ни на что не похожую, одухотворенную плоть. У него получилось. Вышла даже не земля. Планета. Планета Кудрявцева.

СТАРШИЙ МАТРОС

Думаю вот: объявись в одном флотском призыве короленьковский Гавря Бисеров из «Лесной глуши» с беловским Иваном Тимофеевичем из «Весны», кто из них поднимется до первостатейного старшины, а кто придет к дембелю матросом, если только не удостоится за самоотверженное прилежание одной лычки? Уверенного ответа не знаю. Предполагаю — у Гаври шансов поболе.

Дело обыкновенное. Кто везет, тех грузят.

Да ведь не все одним миром мазаны. Народ велик и многообразен. Всегда в достатке нарастает новобранцев, по честным заслугам подходящих любому званию от старшины второй статьи до главного корабельного. А глядеть дальше — хоть до полного адмирала. Но сейчас мы не про все стороны бесконечности, а только об этих двух народных, весьма распространенных, типах. О Гавре, значит, Бисерове. И Иване, стало быть, Тимофеевиче. И хотя Бисерова промеж нас, увы-увы, непомерно больше, тут Гавря на чуток совсем. Для сравнения. Как супротивник Ивану. И всем таким, как он. Не тем особенно выдающимся, что живут, бывает, на краю жизни, а то и за краем (кто ж из нас, грешных, за жизнь не держится хоть на краю, хоть за краем?). При всем при том есть еще человеки. Которые не за звания и прочие приятные вещи стараются. О ком как раз и говорят: на них мир стоит.

Отдельных-нескольких старших матросов я знаю. Североморца Валентина Яковлевича Курбатова, спасающего в небольшеньком Пскове-городе родную литературу, заодно и душу народную, от потравы. Тихоокеанца Юрия Николаевича

Кабанкова, необходимо несущего ту же вахту на другом рубеже земли нашей — аж в самом Владивостоке.

Валентин Яковлевич да Юрий Николаевич жить-то живут как будто с краешку, а дело держат на всю Россию. Ныне главнейшее. Как в свое время Куликовская битва или обе Отечественные. С их Припятьями и Волгами, со всеми Бородино, Брестами, Сталинградами, деревнями Крюково и разездами Дубосеково...

И он, флотский кореш мой, — из этих старших матросов. Тоже Иван — как в «Весне» у Белова. Хотя по паспорту Евгений, а по творческому псевдониму у всенародной известности — Джон.

Его упрекали за Джона. Еще как упрекали! Некий шибко страдающий псевдолитературным недержанием писатель (пусть читатели сами поставят ударение) черным по белому пропечатал в одном задиристом издании: Джон по заданию и за деньги ЦРУ развращает душу русского народа!

Лет двадцать тому в журнале «Дальний Восток» я неосмотрительно назвал друга по паспорту. Задал он мне взбучку! Извиняться, тем более спорить было бесполезно. Вразумлял Максимом Горьким. Мол, по метрике Алексей Пешков, а поди спроси — все ли в курсе? И другие убедительные примеры приводил. Много примеров. Он вообще много знал.

Нравилось ему имя Иван. Исстари у нас популярное, оно недаром во всем мире распространено в виде клише «русский Иван». Но таким же родным является для болгар и македонцев, сербов, словенцев, хорватов, не говоря про украинцев и белорусов. Вместе с чешским, польским и фламандским Яном, венгерским Яношем, французским Жаном и итальянским Джованни оно происходит от древнееврейского «Иоанн», разошедшегося по белу свету с Библией. В разных формах существует у греков и немцев, испанцев и португальцев. Английский Джон опять же от Иоанна начинался. Кудрявцев так рассказывает о своем имени: *«Я его не выбирал, так получилось. С самого раннего детства я хотел быть Иваном, но не смог повлиять на своих родителей, они звали меня Женей. А мне оно не нравилось. Уже потом я узнал, что у мамы с папой после войны родился мальчик, который умер в младенчестве, его звали Женей. То есть я как бы чужое имя носил... Мальчишки в школе звали меня то Джек, то Джон... Лет в двенадцать я из протеста придумал себе пиратское имя Джон Руби. Прошло много лет, и в середине 1980-х Джоном стала звать меня жена... Когда она умерла, я стал везде ставить клеймо «Джон Кудрявцев. Земля сна». Меня свое имя, я боролся с судьбой. Так что это — не просто псевдоним. Имя не американское, английское. Мне нравится, что это калька имени Иван».*

В общем, когда я познакомился со старшим матросом Кудрявцевым, он уже был Джоном.

А вышло так. Большая дизельная подводная лодка (ПЛ) «Буки-833» готовилась к небольшой — где-то на полгода — боевой службе в Индийском океане. По замовской части многое уже было сделано.

Остались позади казавшиеся бесконечными хождения в отдел технических средств пропаганды (ТСП) политуправления флота, где посредством не только многократно перепечатанного вороха бумаг удалались в четвертую категорию кино, фото- и прочая аппаратура, частью своевременно, частью досрочно дотерпевшая в морских походах до полной негодности.

Безотказное многофункциональное флотское «шило», известное гражданскому люду под кратким, однако приятно вдохновляющим названием «спирт», помогло разжиться почти новой трудягой «Украиной» взамен списанной рухляди. Доки-мичманá с кинобазы отписали экипажу в компании с бойко стрекочущей киноустановкой не самый клееный-переклееный набор не самых допотопных лент в покочанных, с продавленными боками и ребрами, гранено-круглых коробах.

Из дореволюционного здания склада на улице Лазо во Владивостоке передислоцировались на борт «фокстрота» (ПЛ 641-го проекта) бланки «Боевых листков», «Молний», почетных грамот и благодарственных писем; чистые удостоверения участников перехода экватора за подписью Нептуна, поздравления именинникам от командования корабля и прочие дары военной полиграфии, очень и не очень нужные в океанских дальях и глубинах.

Из разных уголков Советского Союза шли посылки с бандеролями. На имя заместителя командира подводной лодки по политической части. В ответ на письма, посланные родным и близким: «...экипаж корабля, на котором служит ваш сын (брат, муж) матрос (старшина, мичман, офицер такой-то) в скором времени уходит в дальний поход. Вы можете поздравить его с будущим днем рождения, которое он встретит вдали от родных берегов. Прошу прислать магнитофонную кассету с аудиописьмом — ваши голоса прозвучат по корабельной трансляции (такого-то числа, месяца), когда командование и личный состав будут поздравлять вашего сына (брата, мужа)... Пожалуйста, не сообщайте об этом (имярек) — пусть сердечный привет из дому будет для него дорогим сюрпризом...»

Дело вышло знатное. Тогдашняя почта, не в пример нынешней, работала честно.

С бандеролями — вроде без проблем. В прочном корпусе уходящей в моря подлодки, под завязку загруженной всеразличными припасами, найти местечко для скрытного хранения нескольких десятков кассет не так трудно, как для посылок, зачастую дотягивающих до десятка кг. Объявилось много отзывчивых родичей, которые об этом не задумывались. Чего только не было в почтовых ящиках-коробках! С книгами — понятно (присылали немало, помню, например, обложку сборника Роберта Рождественского с фотографией автора, кажется, и название помню — «Огромное небо»). Их следовало хорошо упаковать, написав имя адресата с датой вручения, опять же отыскав место для надежного складирования. Но куда деть непрошеные соленья-варенья-колбасы, не раскрыв тайны до срока? Единственное, что пришло в голову: по мере поступления продукты в качестве анонимного дара вручать коку на улучшение матросского стола.

Заставило почесать затылок неожиданное разнообразие подарков грядущим именинникам. Неуставные шарфы из ангорской шерсти от любящих девушек, вязанные бабушками носки, варежки от заботливых мам явно не годились в местах, где от жары не спасала и тропическая форма, даже если от нее оставить одни шорты. На ближних подступах к полуострову Муравьева-Амурского маячила зима, лодка же отправлялась в экваториальное лето, но об ее путях-дорогах родные и близкие подводников не ведали. Мы не могли выдать военной тайны.

На фоне этих и других заморочек, могущих быть веселыми и приятными, не будь они слишком многочисленными, особняком стояло дело, целесообразность которого вызывала великое сомнение, но обязательность обсуждению не подлежала. Экипаж последовательно сдавал задачи по курсу боевой подготовки, первой из которых значилась организация всего многосложного комплекса жизни и службы на берегу. Для замполита ахиллесовой пятой являлась ленинская комната. В реальности — кажущееся огромным пустое, с обшарпанными голыми стенами помещение в казарме, доставшееся нам от другой команды. Его надлежало от палубы до подволока закрыть портретами, стендами, плакатами и прочей «наглядной агитацией». Содержание и форма «наглядки» тщательно исследовались и придирчиво оценивались замкомбригом по политчасти капразом Александром Дудинским, политотделом 6-й эскадры подводных лодок и офицерами политического управления Краснознаменного Тихоокеанского флота, учинявшими набеги на 833-ю «букашку» тем чаще, чем ближе подступал выход в океан и меньше времени оставалось на «устранение замечаний».

Нечто необъяснимо смешное заключалось в том, что ленинская комната после ухода 833-й из базы делалась ненужной. Экипажу, наследующему жилые и служебные помещения, предстояло обживать и оборудовать их наново.

Прибывший с Балтийского флота в последние дни августа 1977 года, в бригаде был я человеком новым, не успевшим обрести друзей, готовых помочь в нереальном деле. Коллеги-замполиты с доброй дюжины других субмарин объективно являлись конкурентами. Кого больше, кого меньше, но всех без исключения напрягала та же самая «наглядка».

Спасение обреталось в мастерской художников. Слева за сценой огромного зала клуба-столовой, где, пребывая в базе, харчился личный состав соединения, иногда отворялась волшебная дверь. Кто-то из мастеров являлся взгляду присутствующих, легко пролетая (редко) или устало шагая (как правило) по своим важным делам.

Творцов было трое. За дверью, защелкнутой изнутри, они работали круглосуточно. На стук могли не открыть. Открыв, могли разговаривать недолго. Заваленные заказами на изготовления всего и вся — от простейших объявлений на любые случаи жизни до высокохудожественных картин, панно, подарочных чеканок и эксклюзивных памятных сувениров, — флотцы, понятно, чттили субординацию. Само собой, абсолютный приоритет у командира и начальника политического отдела 6-й эскадры подводных лодок адмиралов Белышева и Шихова (последнего сменил капитан 1 ранга Скворцов). За ними — комбриг-19 капраз Семенов, его замполит Дудинский, начальники обоих штабов. Потом — рать эскадренных и бригадных офицеров-флагманов. Наконец, береговая база бригады — подразделение для художников родное...

Что оставалось несчастным лодочным комиссарам, когда перед ними все-таки отворялась дверь мастерской? В лучшем случае — прописаться в очереди, почти неподвижной. В реальности это ничем не отличалось от прямого отказа. Художники не лукавили, избегая заведомо невыполнимых обещаний, так что нашему брату приходилось удаляться восвояси не солоно хлебавши.

В мастерскую я пришел без просьб и надежд. Пришел не сам — случайно, за компанию с начальником клуба лейтенантом (старшим лейтенантом — у кого бы уточнить?) Прасолом. Познакомился с недоступным Джоном. Было видно: он — главный. Характер. И пахнет больше всех.

Мне понравилось. Все. Джон показал свои работы — работы понравились. Поговорили о том о сем — понравились взгляды, мысли. Понравилось, как он их выражал. Я стал захаживать в мастерскую.

Как-то совпали моя сходная смена и его увольнение в город. Я пригласил Джона к Леониду Климченко, у которого после перевода из балтийской Лиепайи в тихоокеанский Владивосток, не имея своего жилья, базировался несколько месяцев. У старшего постоянного корреспондента «Красной звезды» по Тихоокеанскому флоту капитана 2 ранга инженера Леонида Леонидовича Климченко (летом следующего года Леня погибнет во время взрыва артиллерийской башни на крейсере «Адмирал Сенявин») мой поступок не вызвал одобрения. Леня разглядел в Джоне только старшего матроса. Я уже видел художника. Зрелого, готового в близкое время стать выдающимся и известным.

Кудрявцев — ровесник моего младшего брата Сергея, я старше на шесть лет. Но в понимании природы и законов творчества был я рядом с Джоном ребенком. В школе рисовал, год-другой даже занимался в художественном кружке у любимого педагога Давыда Давыдовича Прахта. С класса, наверно, четвертого переводил бумагу, пытаюсь сочинять «стихи». Даже посягал на «прозу». Но ясного представления не имел ни о чем. Многое, что мне предстояло освоить, о чем еще не

догадывался, старший матрос знал доподлинно. И в плане, так сказать, технологическом, и — что гораздо важнее — на уровне мировоззренческом, философском.

Джон сам предложил оформить ленинскую комнату ПЛ «Б-833». Дело — огромное! Просить о нем я бы не осмелился.

Не знаю, как он выкраивал время. Но сладил ленкомнату вовремя и в лучшем виде. Сверх того разрисовал по трафаретам на все случаи — от дня рождения до перехода экватора — белые майки из комплекта разового белья. Обреченные после одной носки бесследно сгинуть в просторах Мирового океана, майки обретали теперь жизнь долгую и судьбу завидную. Подводники, став в дальнейшем походе счастливыми обладателями культовой вещи, свято ею дорожили.

Хотелось как-то отблагодарить старшего матроса. Мысль о «шиле», универсальной флотской валюте, даже мелькнуть не могла в моем образцово-офицерском сознании. После напряженных поисков отыскал подарок, претендующий, по крайней мере, на оригинальность. Увесистый фолиант, на синей обложке которого, украшенной по углам якорями и звездами, оттиснуты знамена Советской армии и флота и пропечатано золотом:

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР
КНИГА ПОЧЕТНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КОРАБЛЯ
ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

Многие годы (теперь можно сказать — всю жизнь) Джон рассказывал эту историю. Сначала с недоумением. Потом с юмором. В конце концов, кажется, с пониманием моего выбора.

«Книгу почетных посетителей» я открыл, когда Джона уже не стало. Записей в ней немного. С японского, голландского и английского их перевела кандидат философских наук поэт Марианна Смирнова. Вот один из автографов на английском: *«Джон! Для меня большая честь оставить запись в вашей замечательной гостевой книге. Вы открыли мне глаза: не только на ваш необыкновенный и красивый (неразборчивое слово), но и на присущие вам уникальные творческие способности и фантазию. То, что мы подружились, много для меня значит, и я буду тепло думать об этом всю дорогу домой, от Владивостока до Вашингтона. Спасибо (на разных языках). Сильва Этян»*. Почти десять лет назад консул Соединенных Штатов разглядела и оценила то, чего до сих пор не разглядели и не оценили некоторые земляки-россияне.

Что касается меня, то, повторись совместная служба с Джоном хоть два, хоть пять раз, я бы вновь подарил ему «Книгу почетных посетителей корабля». Даже если бы знал то, чего тогда не знал. Оказывается, отдельные офицеры, включая и замполитов, считавших не лишним поощрить старшего матроса за работу, недожасшей рукой преподносили ему бутылку спирта...

Об этом и вообще о далекой, полузабытой службе на флоте можно было бы не писать. Не исключено, кому-то больше приглянулся бы рассказ о свердловском периоде жизни художника (город возвращен к старому имени Екатеринбург, но Евгений учился еще в Свердловске, этого уже не отменить). Однако про Свердловск знаю отрывочно и опосредованно, со слов самого Джона. Зато мне открыта моряцкая страница его судьбы. Сюда вошло и зарождение нашей пожизненной дружбы.

Для тех, кому он небезразличен, какие-то детали бытования старшего матроса Кудрявцева и в целом атмосфера в 19-й бригаде подводных лодок могут быть интересными сами по себе. Главное для меня: на военной службе Джон сформировался как гражданин и художник, накрепко утвердился во взглядах на жизнь и творчество. Разумеется, это произошло не на пустом месте. Характер, мировоззрение закладывались раньше. В детстве, допризывной юности. Вот — автобиография, написанная рукой Джона, найденная в его мастерской после кончины автора:

«Джон Кудрявцев (он же Евгений Александрович Кудрявцев) родился под Свердловском (ныне Екатеринбург) в рабочем поселке в ноябре 1955 года десятым по счету ребенком. Мать, родившая 11 детей, была домохозяйкой, отец — рабочий, машинист паровоза, как и большинство из его поколения, побывавший на войне. Отец и мать для меня — идеал родителей. Святы. Творческое начало в детях оберегалось и поощрялось. По крайней мере, все сыновья (4) имеют отношение к творчеству (живопись, оформительское дело, художественная обработка дерева и камня). Именно братья (я самый младший) стали для меня первыми учителями-педагогами. Соединил эти два слова потому, что учили и рисовали, и жить. Без них мое профессиональное обучение отодвинулось бы на годы. Они учили держать карандаш и кисть, обобщать увиденное, дарили альбомы, книги о художниках. Они — взрослые — были откровенны со мной, еще мальчиком, а это уже уроки жизни. После 8 лет школы я поступил в Свердловское художественное училище и окончил его в 1975 году. В течение 4 лет я учился промышленной графике, оформительскому делу, рисунку и живописи. Свердловское училище одно из тех, где обучение основывалось на русской академической школе. Строгое и требовательное вызывает со временем в душе великую благодарность учителям. Трех из них хочется назвать все-таки персонально. Это: Борис Михайлович Витомский, Василий Петрович Старов, Владимир Данилович Сысков.

#

1975 — 1978 год. Военно-Морской Флот. Демобилизация. Женитьба. Рождение сына. Отъезд в Ленинград. Неудачная попытка там обустроиться.

1982 год. Возвращение во Владивосток. Владивосток оказался городом судьбы...»

Флот довершил формирование одухотворенной, цельной личности, отпустив в свободное плавание зрелого мужа, определившего генеральный курс жизни и точно знающего свой единственный берег.

ЛИХНИС СВЕРКАЮЩИЙ

«Генеральный консул Японии в г. Владивостоке Акира Такамацу имеет честь просить г-на Джона Кудрявцева пожаловать на прием по случаю окончания срока службы в г. Владивостоке и своего отъезда в Японию».

В полуподвал столетнего темно-кирпичного здания на улице Пушкинской приглашение принесли две симпатичные японки за пару суток до приема-прощания в ресторане «Версаль». Джон не мог знать, что Акира Такамацу, расставаясь с Владивостоком, пожелает видеть в числе своих гостей более двух сотен самых значительных персон приморской столицы и что он, Джон Кудрявцев, окажется среди них единственным художником.

Тот факт, что к его работам, уже находящимся в частных коллекциях в Стране восходящего солнца, прибавилась картина «Последняя неделя сентября», подаренная Акире Такамацу губернатором края, вызвал противоречивые чувства. Художник тяжело расставался со своими работами и, когда бы существовал какой-нибудь иной источник пропитания, предпочел бы не продавать их вообще. Тележурналист, поэт Елена Васильева оставила нам признание Джона: *«За 50 лет творчества я сделал на заказ три картины, в 1993 году. Был такой опыт... И очень неприятный. Меня и так многое разрушает, а заказ превращает в овощ. Теряю энергию, способность соображать... И, потом, я не продаю картины, я их меняю на деньги. Я вообще не люблю, когда про художника говорят «успешный». Само понимание успешности предполагает хорошее материальное положение. Успешность плюс материаль-*

ность создает массовость, а художник, приемлемый для масс, перестает быть художником. Художник мыслит образами, а не кундюрами. А образ-то приходит из подкорки, логикой не воспроизводится, значит, явно опережает массовое сознание. Все новое должно долго отлеживаться, чтобы потом всплыть и стать достоянием масс. Поэтому художник не может и не должен быть успешным». О том же — в ответ на вопрос, что движет его творчеством: «Никакого расчета нет, есть только ощущение любви».

«Расчета нет» — фундаментальная мировоззренческая основа не только творчества, но и самой жизни. Единственная мотивация для того и другого — «ощущение любви»...

С тем, что работы уходят из мастерской, все-таки легче смириться, когда они остаются на родине. Картины, уехавшие в Германию, США, Австралию, в другие очень и не очень далекие страны, беспокоили память и снились ночами. С другой стороны, художник тем и живет, для того и трудится, затем, может быть, и рожден на свет Божий, чтобы радовать своими произведениями людей. Если картина привлечет кого-то за рубежом, хоть в Африке, это не может не льстить любому автору. Джон — не исключение. В таком случае он чувствовал гордость за себя и — немножко — за Россию.

Застигнутый врасплох неожиданными гостями, Джон лишь на минуту-другую задумался об этих серьезных, всегда его волновавших, вещах. Он знал, что Акира Такамацу посетил его выставку в галерее «Арка», что консулу понравилась «Последняя неделя сентября», что ее вместе с парой других картин возили в «Белый дом», где лично губернатор выбрал подарок для консула. Однако приглашение в «Версаль» обрушилось как гром среди безоблачного неба. Джон вдруг вспомнил, что в его гардеробе нет соответствующей событию одежды. Срочно надо было приобрести пиджак, которого художник никогда не носил...

Пресса называла Кудрявцева самым оригинальным, самым экзотическим жителем Владивостока. Наверное, это правда. Но данные определения, даже если они сопровождалась признанием, что речь идет об «одном из виднейших художников Дальнего Востока», поверхностны. Журналисты разглядывали ни с чьей другой не схожую его фигуру в интерьере ни с чем в целом мире несравнимой мастерской. В душевную и творческую суть художника не проникли и профессиональные искусствоведы. Они, совпадая с самыми неискушенными зрителями, пользуясь редкой возможностью оценить его творчество (к пятидесяти годам у Кудрявцева состоялись всего две персональные выставки), воспринимали Джона как открытие, но не могли осмыслить и сформулировать — в чем, собственно, оно заключалось?

В книге отзывов последней на тот момент «персоналки» выбираем малую толику из числа самых коротких записей. «Ты гений!», «...редкий и необычный талант», «Просто супер!», «Ты наш уникум!», «Волшебство!», «Восторг!», «Поражает воображение», «Не ожидали. Спасибо!», «Теперь я буду посещать выставки чаще. Это здорово!» Многочисленные, более пространственные отклики созвучны процитированным.

Однако встречались и другие. «...Эклектичность», «...Названия картин интереснее самой живописи», «...Картинки тушью забавны, но не более», «Фанарные (орфография оригинала. — В.Т.) картинки. Я и левой задней так смогу», «Самый интересный экспанат (орфография оригинала) — это ваше чучело». Подобных отзывов — единицы. Почти все они представлены здесь.

Несколько записей как бы подводили итог всем предыдущим. Одна из них: «Не умею выразить внятно свои мысли по горячим следам. Просто понравилось — и все».

Первая загадка, первая тайна Джона (ну, может, не первая, но нам вольно любую взять за первую). Почему его вещи, при тщательной детализации, продуманности

и скрупулезной проработке образов, не даются быстрому объяснению? Кого-то привораживают, у кого-то вызывают недоумение, для иных являются навсегда заведомо не прочитываемыми. Притом для тех и этих (по крайней мере, пока время и признанные ценители не расставят все по местам) остаются, скорее всего, именно этой тайной и влекущими.

Тут нет ничего странного, иначе просто не бывает. Чтобы оценить человека по правде, надо быть с ним не рядом, а вровень. Или довериться мнению людей, которые знают гамбургский счет. Для большинства это еще невозможней, чем составить собственное верное суждение о личности, до которой мы не можем дотянуться.

А все-таки: почему Джон — такой? Рискну предположить: потому, что он никогда не шел на поводу. Ни у чего. Ни у кого. И прежде всего, более всего — у самого себя. Был себе верен, верен неотступно, негиблемо. Но не шел у себя на поводу. Это вещи разные. Он говорил: «Как профессионал я занимался оформительским делом, карикатурой, книжной графикой, был художником-постановщиком на телевидении и в театре, но всегда мечтал быть свободным художником буквально; иметь мастерскую по своему подобию и заниматься чистым творчеством». Здесь «профессионал» означает не уровень таланта и умений, а формальный статус, наличие кормящей штатной должности, гарантирующей возможность, образно говоря, регулярно расписываться в раздаточной ведомости. Джон однажды и навсегда отказался от «раздаточной ведомости», отдав себя «чистому творчеству» (не путать с «чистым искусством»).

Человек нормальный, он имел нормальные, понятные для всех, потребности и желания. Жить удобно, с комфортом в духе времени, без стеснения привечать гостей, путешествовать по миру, работать на собственной творческой даче, ездить на личной машине. Очень мечтал обзавестись хотя бы мотоциклом... Примеров для подражания всегда было достаточно. Впрочем, умница Джон без них видел пути и места, где можно преуспеть. Но решительно отвергал их. Знал цену, которую придется платить за внешнее благополучие. Это было отречение от многого, без чего среднестатистическое (нормальное) большинство жить не может. Осознанный, жесткий, даже жестокий выбор, обрекавший на существование в бытовом плане очень скромное. Сказать прямо — бедственное.

У Джона водилась общая тетрадь из грубой желто-серой бумаги, бесплатно добытая по случаю там, где ее собирались выбросить за ненадобностью. В былые скучные времена такие звались «амбарными». Теперь это раритеты, каких многие соотечественники, особенно молодые, в глаза не видели.

Джон числил свою тетрадь дневником, однако такое название применимо к означенной вещи лишь условно. Здесь практически нет текстов, свойственных дневнику в общепринятом понимании. Перед нами, скорее, записная книжка. Книжища, в данном случае. Хронология в ней игнорируется. «Исповедальных» многословий, явно или тайно рассчитанных на прочтение и бессмертное признание потомками, не присутствует. Вместо них — «узелки на память» по конкретным повседневным делам, молниеносные фиксации состояний-настроений автора и емкие, в несколько слов, мысли о судьбах — от отдельного человека до всего мироздания. На поверхностный взгляд максимы Джона парадоксальны. Над содержанием, не всегда доступным с первого прочтения, приходится напрягать мозги. Смысл может казаться отвлеченным от реального времени и конкретно-исторического пространства. Но он сугубо достоверен. Точно попадает в «текущий момент», философски основателен и проницательно дальновиден.

«Бобр и мышь женились. Родился бомш».

«Между Прочим... и Будущим — это и есть жизнь, но настоящая жизнь — в прошлом. Возможно, в Будущем мы сильно захотим в НАСТОЯЩЕЕ».

О том же и о другом. Планетарном, общем для очень, увы, многих. И личном до боли. «Лег спать, а уже завтракать хочется. Про обед и не мечтаю, а еще говорят, что ужин отдай врагу...» Даты, опять же, нет. С привязкой к датам такая запись могла бы повторяться регулярно.

Часто — в столбик — список фамилий. Кредиторы. Рядом с каждым — сумма долга. Она жирно закрашена синим или черным. Значит — рассчитался. Пометы заставляют подумать о Малевиче — они, в большинстве своем, квадратные. Только маленькие, примерно сантиметр на сантиметр.

Списки «инвесторов» порой на полстраницы. Джон часто и длительно жил в долг. Жил, работал. Новые картины после выставки раскупались стремительно. Долги закрывались. В «дневнике» прибавлялись темные квадратики. Впрок заполнялся старый холодильник. Приобретались краски, материалы для работы. Все начиналось сначала.

Продукты, напитки покупались в магазине на Пушкинской. Спуститься с горки — полминуты. За салом, квашеной капустой, в которых он понимал толк, Джон топал на улицу Комарова. Комаровский рынок был основательно пристрелен. Джон знал большинство постоянных продавцов, но из года в год кормился из одних и тех же рук. Случалось, маршрут менялся. Базар на Луговой больше, там легче найти желающих поменять книгу на кило картошки. Авторский экземпляр оформленного Джоном подарочного издания стоил за семьсот рублей. Только с учетом расходов на типографию, на самом деле значительно больше. Если кто хотел купить, Джон отдавал красочный том за сотню-полторы. «Вот, — говорил он, улыбаясь, — картошечкой разжился, кусочек колбаски взял, сигареты. На пару дней хватит». Полагал большой удачей, если к этому прибавлялась баночка кофе.

Сюжет повторялся, когда в кармане вновь надолго не оставалось ни гроша. Но и тогда художник не позволял уговорить себя на какой-нибудь заманчивый аккорд. Предлагали проиллюстрировать книгу за приличный гонорар — Джон читал рукопись, видел, что книга плохая, и отвергал выгодный заказ, не оставляя посетителю ни малейшей надежды.

Почитатель джоновского таланта, человек с возможностями, хотел купить Джону квартиру. Джон некоторое время раздумывал. Жил в полуподвале вдвоем с сыном на птичьих правах, появилась возможность обеспечить Илью наследственной жилплощадью, не говоря о том, что сам Джон на всю оставшуюся жизнь приобретал собственное жилье с удобствами.

От подарка он отказался. Объяснил так: «Здесь атмосфера, аура — мои, я сам их отстраивал, сам заряжал под себя. Нет гальюна, и что? Тыщи лет люди жили: уборная на улице, вода в реке, в колодце; тепло — поленья в печи. Жить я могу везде, хоть во дворце. А вот работать... В штампованной квартирке с гладкими стенами, стандартными дверями, подоконниками, батареями, кранами с горячей-холодной... Дух другой. Пока буду привыкать, вживаться, вработываться — годы уйдут. Не вернуть».

С четверть века назад во Владивостоке организовалась некоммерческая благотворительная издательская программа «Народная книга». Начинаящий издатель, впоследствии ставший весьма известным, причастный к замыслу, порекомендовал «Народной книге» в качестве шеф-художника вполне себе именитого живописца. В мастерской последнего ударили по рукам, распили бутылочку за успех. Быстро почуяв, что успех никак не связан с гешефтом, издатель и живописец тихо слиняли из программы. Шеф-художником стал Кудрявцев. Более ста тридцати изданий «Народной книги» прошли через Джона, не один десяток из них он оформил лично. Работал, за ничтожно малым исключением, бесплатно.

Дальневосточный журнал «Сихотэ-Алинь» в его окончательном облике — творчество Джона. Классика книжно-журнальной графики. Образцовый аскетизм при полноте смысла в каждом штрихе, в каждой букве, доведенный до четкого, легко читаемого символа. (Искусствовед Виталий Кандыба: «*Кудрявцев... доводит изображения до опасного рубежа — до знаковости. Он смело балансирует на самой крошке этой границы, заимствуя от знака его максимальную обобщенность.*».)

Все необходимое. Ничего лишнего.

Случалось, редколлегия передоверялась полиграфистам, давая добро на тираж без досмотра сигнального экземпляра. Мелкие недоделки в оформлении, никем не замечаемые, Джон переживал как личное горе.

Журнал искал свое лицо. Персональную марку, личный графический герб. Общий, единодушный, безальтернативный выбор — тигр. Ну, в крайнем случае, леопард. Однако тигр все-таки правильной. Символ Дальнего Востока. А Джон, конечно, нарисует его по-своему...

Художник как-то непредвиденно затянул с простым делом. Как-то подозрительно. Редколлегия ждала, недоумевая. Торопить мастера не решались. И — награда! Джон показал что-то неожиданное, что-то удивительное. Простое и таинственное. Исполненное изящной красоты.

«Если журнал новый, то новый во всем. Тигр размножен в тысяче изображений, начиная с краевого флага. Символ бесспорный. И общеизвестный. То есть привычный. Нет открытия. К тому же тигр — зверь, хищник. А вот, смотрите, — цветок. О нем мало кто знает. Это неплохо. Смотрите, форма замечательная. Лучистый. Солнце, звезда. Огонь во тьме. Название — лихнис сверкающий. Звучное, живое, с душой. Эндемик, растет еще на востоке Сибири, в Корее, Японии. Земли сопредельные. В общем, наш». Так сказал Джон.

Лихнис сверкающий расцвел на обложке «Сихотэ-Алиня».

О цветке никто из причастных к делу прежде не слышал. Джон тоже. Осталось загадкой, как он его нашел. Одного из полусотни разных лихнисов — имеющего эксклюзивное право символизировать Дальний Восток на обложке периодического дальневосточного издания.

У лихниса сверкающего есть второе имя. Оно тоже украшает и освещает историю журнала и самого Джона. Зорька.

ЗНАМЕНИТЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ

Ему потребовалась пара-тройка десятилетий, чтобы купить пиджак, вырастить самую приметную в городе бороду, стать живой легендой Владивостока. И целая жизнь, чтобы выработать технику живописи, изобрести несколько видов графики, никогда нигде не существовавших. После его ухода ими не владеет никто. На всем белом свете.

Еще одна тайна Джона. Из тех, что он унес с собой, оставив нам иные для разгадывания.

Изображения в его работах внешне безыскусны. Вот цветная живопись. Казалось бы — простые пейзажи. У пейзажей есть прототипы. Но картина, образ никогда в точности не совпадают с природным оригиналом. Вот черно-белая графика. Порой почти фотографические портреты зверей в естественной среде обитания. Ну — чуть стилизованные, обобщенные, с авторской добавкой и акцентировкой деталей. Малость, однако, странноваты. Узнаваемы с ходу, да почти вызывающе фантазийны. А главное — не по чину деятельны. Что-то явно хотят нам сказать. И, как приглядеться, «естественная» среда тоже какая-то не такая и как-то не очень

отсюда... Вот — совсем просто — нарисованные школьной тушью раковинки-травинки-червячки. Что-то подобное, наверное, можно увидеть, разглядывая под микроскопом, допустим, цветочную пыльцу или волосок на лапке жука-плавунца. Скользнул взглядом, можно шагать дальше. Но если остановиться, взглядеться...

Простота приятна непритязательному взгляду и тишит ленивый ум. Все легко, если за ней не таится что-то еще. Но тогда Джон — не Джон. Он как раз начинается там, где пульсирует чувство и сосредоточен смысл. У того же Кандыбы читаем: «*Он никогда не давал себя воспринимать — не приведи Господь! — глубокомысленно и глубокомысленным*». Правда, не давал. Зачем? Глубокомысленность — одно. Не-что внешнее. Сценическое, сыгранное. Часто прикрывающее отсутствие мысли, имитирующее ее. Раздумье, заветная мысль — другое.

Художника-мыслителя недостаточно увидеть. Надо расслышать. Почувствовать. И, даст Бог, расшифровать, понять. Это требует непривычной, многим недоступной работы. Тяжелой, малопривлекательной. Когда творческий поиск не ограничивается эстетским формализмом, необходимо проникновение в суть. Возникает проблема. Зритель подозревает, что за внешней формой что-то скрывается, но смысла этого «что-то» постичь без больших усилий неспособен.

Джон — художник-философ. И в сюжетной картине, и в незатейливом вроде пейзаже. Его графика, могущая показаться сугубо абстрактной, на самом деле содержательна. Как содержателен, допустим, китайский иероглиф. Увидеть может каждый. Прочсть — только тот, кто умеет читать по-китайски.

Эта тайна Джона, может стать, одна из самых парадоксальных. Кудрявцева помнит в лицо пол-Владивостока. А понимают единицы. Однако он оказался принят и теми, кто его не разгадал. Виталий Кандыба так отозвался на третью персональную выставку художника в галерее «Арка»: *«Наши художественный мир дружно изумился: «Такого, небывалого, Джона Кудрявцева мы еще не видели...» Замечательна отчетливость внутренней установки «нового» Кудрявцева на гуманизм и в содержании работ, и в отношении к публике. Его искусство, несколько не упростившись, стало доступно, интересно восприятию и переживанию простого зрителя. А о последнем многие приморские художники высокомерно забыли. Для них высокое искусство — это экспериментальные поиски. Неважно, что без результата. А потом мы вопием — куда же зритель запропастился. Евгений Кудрявцев, в отличие от них, может сегодня сказать: «Я не ищу, я нахожу»*».

Виталий Ильич дает этому обоснование: *«Евгений Кудрявцев — редкий, необычный человек! Почему? В нашем Союзе художников он единственный сохранил в себе детскую потребность и способность сочинять сказки. Нет, лучшие сказать, не сочинять, а играть в сказки с окружающим миром. Создавать на его месте мир веселый, благоустроенный для радости и торжества добра. Мы снисходительно называем его сказочным. На языке же философии это идеальный мир, такой, каким он должен быть. И которого человечество никак не может удостоиться, словно бы он вечно ему не по заслугам»*.

Кандыба, на мой непросвещенный взгляд, не просто один из лучших на Дальнем Востоке (хотя родился в Жданове-Мариуполе, провел детство в Клайпеде, учился в Ленинграде, после Владивостока жил в Ульяновске), но — единственный искусствовед, видящий за формой смысл произведения. Или его отсутствие. Разумеется, из числа тех, кого знаю в необходимой мере. Но и он, мне кажется, открыл Джона с опозданием. Не сразу, возможно, внимательно пригляделся. «Новый» Джон являлся на свет не только с каждой новой выставкой, но с каждой новой работой. Это был принцип. Не размножаться, не повторяться, не ставить на поток производство апробированных, оправдавших себя тем и сюжетов. При этом оставаться неизменным — таким, каким был изначально. По вере своей, по убеждениям, по

эстетическим и — важнее — нравственным, если угодно, идейным ценностям. Он ни на шаг не отступал от них. С детства, с юности, как только сформировалось мировоззрение, со времен флотской службы, когда окончательно укрепился во взглядах на жизнь, на людей, на творчество. Тогда Джон и стал достойным своего будущего. И уже тогда предрекали ему неминуемый грядущий успех и неизбежную известность. Те, кто понимал, кто он такой, какой он внутри себя, этот молодой, по несолидному возрасту еще не проявивший себя, ничего еще не успевший Кудрявцев. А он как раз успел. Успел главное — стать личностью. Общеизвестно: мы все — родом из детства.

Грядущий, спустя десятилетия открытый Виталием Кандыбой, Джон существовал давно. И тогда, и через сорок лет сторонние люди, даже те, кто оказывались поблизости, могли не заметить его внутренней работы над собой, не оценить результатов этой работы. Его это не трогало, как бы и не касалось. Важно было не останавливаться, не прекращать труд души. Он все знал про себя, знал душу свою, понимал, что ей надо. Отлично знал, что такое хвала и хула. Они не имели права, сбивая с пути, путаться под ногами. Потому надлежало оставаться простым, для всех желающих понятным, приятным в общении парнем, но держать внутренний мир заповедным, оберегая от всех случайных и лишних. Здесь истоки и суть еще одного парадокса Кудрявцева. Джон — свехобщительный, за исключением последних, убывающих лет жизни, когда он сосредоточился на работе, размашисто известный, лично знакомый несчитанному множеству сограждан. Джон — не вписывающийся ни в какие стандарты, схемы, группы: terra incognita, мистер X. Джон — сказочник, лицедей, выдумщик, циркач, коверный, клоун, актер по жизни, жонглер от искусства и прочая, прочая, прочая... И даже, по заключению Виталия Ильича Кандыбы, *«многоликий космополитический мастер на все руки»*.

Уже после ухода художника из земной жизни устроительница выставки старшего матроса Кудрявцева ничтоже сумняшеся заявила при солидном скоплении народа, что до знакомства с ней Кудрявцев был никем. Дескать, она его открыла, наставила на путь истинный, обеспечив грядущую славу и даже устроив личное счастье.

Любопытный факт, взыскующий глубокого анализа. В то же или очень близкое время, когда искусствовед Кандыба засвидетельствовал, что Джон Кудрявцев *«превратился в национального по своему внутреннему стержню, одушевленного художника именно из России»*, обрел *«творческое лицо в русском понимании этого слова, в котором хотя бы раз просияла душа, не закрытая карнавальной маской»*, вышеупомянутая дама перестала бывать в мастерской Джона и общаться с ним. Допреж якобы знала его как русского художника и православного человека, но он предал их общие убеждения (разумеется, она им осталась верна по гроб) и стал теперь — «западник», «либерал», «пятая колонна».

Вынесем за скобки вполне полемический вопрос, можно ли человеку в пятьдесят лет (Джону тогда исполнилось пятьдесят) обрести в одночасье «внутренний стержень», ранее отсутствующий, или, наоборот, бестрепетно избавиться от стержня, с которым прожил полвека. В данном случае интересно сокрушительное несоответствие оценок одного явления, сделанных в одно время двумя профессионалами.

Впрочем, о профессионализме местной искусствоведки (я зову ее — в глаза — «искусствоведо») разговор может быть только отдельным. Как бы образованная, как бы культурная, как бы тонко чувствующая красоту жизни и человеческих творений женщина, прилюдно назвавшая жилище художника помойкой (в день памяти, через неделю после похорон, в присутствии сына и самых близких друзей), сама по себе внимания не заслуживает. Но, увы, речь идет о явлении. Явлении масштабном и

страшном. Сколько людей при должности, звании, по статусу своему поставленных воспитывать наши вкусы, формировать общественное сознание, уполномоченных определять, строить само наше житье-бытье, портят вкусы, затуманивают ум, управляют жизнь! Будем молчать в тряпочку, как мы привыкли, не укажем им на их законное место, все и дальше будет хуже и хуже.

СТО ПОСЛЕДНИЙ АВТОПОРТРЕТ

Он до всего доходил сам. Порой это занимало дорогое время. Зато решение принималось окончательное. В сторону Джон не сворачивал.

За четыре десятилетия лично у меня он просил совета один-единственный раз. Лет, наверное, тридцать пять — тридцать семь назад. Я перебрался с Верхне-Портовой на Пушкинскую, мы стали соседями. Сидели у меня на кухне, еще не вполне обжитой, не до конца обставленной. Интерьер соответствовал делам Джона. В его судьбу стучался новый сюжет. Поворотный.

Быстро, еще не сняв бескозырки, окольцованный, Кудрявцев стремглав убежал от семейного счастья, наградившего опытом, о котором он не хотел вспоминать. Скорее всего, выдающийся по экзотике брак постигло бы полное забвение, не останься на память о нем сын. Через несколько лет, когда Илье пойдет двенадцатый год, родительница приведет его в мастерскую бывшего супруга со словами: «Я тебе его дарю!» До этого исторического события оставалось полторы пятилетки, когда после моего новоселья мы с Джоном неожиданно обнялись на улице Пушкинской, и он, уже чувствуя свободу от прошлого, но еще не мечтая потерять ее в будущем, пришел ко мне слегка задумчивым.

Джон полюбил. Ее звали Тамара. Подлинный художник не имел шансов устоять перед подлинной красотой. Но едва ли какая угодно красота могла сама по себе столь основательно потрясти Джона. Однако Тамара Колесникова, солистка Народного театра музыкальной комедии при Дворце культуры моряков, не просто принадлежала кругу людей, заслуженно входивших в культурную элиту, но была в этой элите личностью по-настоящему яркой, способной многое дать художнику, помочь ему в развитии. Это предопределило характер и неизбежность отношений. Да, было о чем задуматься. Тамара — старше на пару десятилетий, мама двоих детей, почти ровесников Джону. Дети — Андрей и Олеся — его смущали несильно. Во всяком случае, не помню, шел ли о них тогда разговор (а потом Джон просто стал им другом. До конца жизни). Джона беспокоила разница в возрасте.

Что при таких делах насоветуешь?

Сколько пар идеально подходят по всем сравнимым параметрам и статусам, в том числе и по возрасту! Но кто поручится за их счастливое будущее? Вчера целовались в загсе, да, глядишь, через неделю-другую побили посуду, а там и во все — горшок об горшок... Конечно, возраст со временем себя проявит, никуда не денешься. А кому дано быть вечно молодым? Хоть пять лет прожить в любви и согласии, хоть годочек один... Не каждому, ох не каждому выпадает. Другому за всю жизнь не повезет...

Так я сказал Джону. Оставалось еще «общественное мнение». Дорогие земляки-сограждане, конечно, в сложной ситуации никого не оставят без горячего внимания... Но — обошлось без этой тонкой материи. Для меня она еще имела какое-то значение, а Джон давно не парился досужими суждениями-пересуждениями. Знал, на что следует оглядываться, на что — себе дороже. Ему про «мнение», а он — рукой махнул. Тема захлопнулась. «Советовать ничего не могу, — сказал я в оконцовке. — Советуйся с сердцем. Своим и Тамариным».

Лет двадцать они шли по жизни рядышком. От полуподвала Кудрявцева до высотки Тамары несколько сотен метров. Он, случалось, преодолевал путь в оба конца пять раз на дню. Они не регистрировались, но Джон звал Тамару женой. И всякое, конечно, случалось между ними. Даже то небольшое, о чем Кудрявцев, применительно к личной жизни сдержанный до суровости, рассказывал избранным друзьям, могло сложиться в захватывающий роман.

И самые исключительные люди — не исключение: без каких-то своих «пунктиков» не обходится никто. Если Джона можно, с некоторыми оговорками, отнести к аккуратистам, то Тамара впору назвать рабыней чистоты. Он входил в прихожую, она, пристально оглядев обувь, встречала его ритуальными словами: «Вытирай ноги!» Потом надо было разуться. А идеально простиранный, тщательно расправленный половичок, ждавший гостя у порога, со свежими следами подошв без промедления транспортировался в ванную для полоскания.

Джон воспринимал происходящее с терпеливой иронией. Однако со временем сюжет как-то разонравился. Как-то пришел он к Тамаре... босым. В городе лежал редкий для Владивостока, только выпавший снег по колено. Тамара, готовая произнести сакраментальное «Вытирай ноги!», глянула на красные, как у гуся, начавшие припухать конечности сердечного друга и замерла с открытым ртом. Сюжет больше не повторялся.

Все-таки они разошлись. Джон, и без того достаточно свободный в своих поступках, обрел свободу полную. Но почти сразу узнал, что Тамара смертельно больна. И тотчас вернулся.

Она расставалась с жизнью мучительно. Он почти не покидал ее. Готовил поесть, кормил с ложечки. Ухаживал. Ни мыться, ни ходить в туалет самостоятельно она не могла. В кухню, в ванную надо было носить на руках. Оставлять одну на более-менее продолжительное время не получалось.

Кудрявцев работал без остановок, без пауз. Как мартен, в котором процесс плавки непрерываемый. А тут... О пленэрах, о сколько-нибудь серьезной работе за мольбертом пришлось забыть.

Чтобы не потерять форму, Джон стал писать автопортреты. Прибегал от Тамары в мастерскую на двадцать — тридцать минут, становился перед зеркалом, брал, что под руку попадет: бумагу, кусок картона, карандаш, уголь...

После низвержения «преступного коммунистического режима» и разрушения до основания державы «совков», при которых во Владивостоке и днем могли рачительно гореть уличные фонари, наступила либерально-демократическая эпоха полной справедливости, рачительного хозяйствования и всеобщего процветания. Их ознаменовали веерными отключениями от электричества всего и вся, что смогло устоять на позорных обломках отжившего мира. На одном из автопортретов — образ того времени: темнота, на фоне которой художник держит в руках керосиновую лампу...

Тамара умерла у него на руках. В буквальном смысле.

Автопортретов с теми немногими, что создавались раньше и позже в более непринужденных обстоятельствах, получилось в итоге свыше сотни. Какие-то автор считал незаконченными, некоторые, возможно, сгорели в доисторической печи в его мастерской. Вообще-то, наобум Лазаря, не определив творческой сверхзадачи, мысленно не представив, что и как будет изображено, Джон не начинал ни одного, хотя бы и маленького, произведения. Но изредка случалось — чего-то не успевал довершить, что-то выходило не так, как хотел. Часть картин, этюдов, набросков художник сжег.

Последним, окончательным автопортретом стала его жизнь. Она открыта нам лишь в общих чертах, бесконечное множество деталей никому не дано увидеть.

Но мы можем создать свой образ художника, творчество которого прибавило ума и чести родной культуре, став для нас примером на грядущие времена.

КОГДА КОМАРЫ НАЧНУТ УЛЫБАТЬСЯ

На домашний скарб, кухонную утварь Джон не тратился. Продукты, одежду приобретал по минимуму. Краски, рамы, багет, картон — по потребности. Что-то дарили друзья. Джон мог долго присматриваться к новой вещи. Потом реконструировал, раскрашивал — пересоздавал. Допустим, СВЧ-печь, подаренная друзьями к пятидесятилетию, сначала (больше года) стояла в магазинной упаковке, потом (примерно столько же) без упаковки и лишь превращенная из больнично-белой в кочегарно-черную, как фрагмент цельной интерьерной композиции, укрепились с другими раритетами над реликтовой, уже навсегда остывшей плитой, начав служить по назначению.

Случалось, ему приносили что-то пустое, ни к чему не годящееся. Он ничего не выбрасывал. Бэушные безделушки рождались для новой жизни, становясь элементами необъяснимой, но исполненной смыслов инсталляции, в которую Джон превратил жилище. Перегоревшие торшеры, разбитые настольные лампы включались, заполняя мастерскую странным светом. Земным и космическим одновременно. Ископаемые плафоны превращались в принайтованную к стволу дерева прозрачную копилку-фонарь... В хлебницу, на витом шкертке поднятую к подволоку (мышки не доставали, люди дивились)...

Одно время грызуны начали ему крепко докучать. С помощью изящной самодельной конструкции он ловил их на кусочек сала в трехлитровые банки. Однажды, встретившись с Джоном на Пушкинской, мы пришли к нему в мастерскую. В западне посреди комнаты металось противное существо, дерзновенно пытаясь выпрыгнуть на волю. Джон молча взял ловушку, пошел на улицу. Я за ним — посмотреть, как он будет убивать вредное создание. Джон метрах в пяти от порога опрокинул банку, отпуская зверька на все четыре стороны. Мышь, быстро оглядевшись, стремглав устремила... через незапертую дверь туда, откуда ее только что вынесли. Хозяин в удивлении вскинул руки и брови. Замер. Улыбнулся. Восхитился. Сказал: «Что ж, живи теперь, раз такая умная!»

Все живое — от комара до кита со слоню-мамонтом — Джон одухотворял. Наделял качествами, которых нет ему и нам не хватает в нас самих. Об этом — у Виталия Кандыбы: *«Он... относится к птицам и животным с участливой нежностью и любованием, подчеркивая в них черты первозданной свежести, словно бы сохраненные со времен библейских дней творения. Это внешне незатейливое рисование пичужек и зверюшек выглядит в глубине своей неким бегством в сторону рая от переизбыточной сложности в вымечтанное царство гармонии, где все всегда хорошо и прекрасно».*

Однажды выбранный творческий путь, с которого Джон не свернул ни разу, он проходил во времена мутные, полные лукавых соблазнов и всяческого вранья, погубивших многих даровитых, но некрепких душой. Тот же Кандыба справедливо утверждает: *«Постсоветское наше искусство переживает всем очевидный процесс обездушевления. Разные формы творчества «от ума» — концепционного — заявляют сегодня о себе как об истинно современных и передовых. Утомительно и нудно говорят о технологиях исполнения, об изысках разных способов формальной выразительности. Реализм ернически и глумливо переименовывают в «соц-арт». А дорогие нам сызмала заветы русского искусства обращают в хохмы».*

Во всей живительной полноте восприняв уроки Свердловского художественного училища, где «обучение основывалось на русской академической школе», Джон объективно стал оппонентом, а то и самым настоящим идейным врагом неслыханной рати коллег, исповедующих «искусство» «истинно современное и передовое». Он противостоит обездушевлению жизни, идущему в обнимку с губительным расчеловечиванием человека. Даже все по определению неживое, вещное, рукотворное или естественное, изначально существующее в мире, Джон одушевляет. Это видно по его картинам. По иллюстрациям в десятках книг, им оформленных. Писатели, не всегда, может быть, понимая, в чем секрет Кудрявцева, стояли к нему в очереди, никогда не кончавшейся.

Существовала еще одна очередь. Большая и практически неподвижная. Ее составляли жаждущие заполучить портрет, сделанный славным живописцем. И в этом жанре, судя по имеющимся работам, Джон был мастером удивительным. Но писать портретов не хотел. У него были претензии к людям. Он говорил горько: *«По отношению друг к другу люди часто ведут себя, как негодяи... Когда мы начнем чистить себя и нормально воспитывать своих детей еще в мамином животике (например, чтобы она за время беременности ни разу не заматерилась), тогда мир будет прекрасным. Солнышко будет другое, вода другая и все остальное... Верю и знаю только одну истину, что ничего не поменяется... пока я сам не буду просыпаться с нормальными человеческими мыслями и устремлениями... А ведь стоит только задуматься, измениться по отношению к окружающим... Даже комары тогда начнут улыбаться и будут меньше кусать...»*

НА СВОЕЙ СТОРОНЕ

Виталий Кандыба ближе всех «джоноведов» приблизился к пониманию Кудрявцева: «...для него главное в творчестве — содержательный образный посыл». Речь, надо полагать, о том, что Джон называл «из-под корки». Однако и редкому по ясности, пронизательнейшему взгляду Виталия Ильича художник открылся неполно. По мнению искусствоведа, «порывистость, импровизационность, наступательный напор... взрывная активность образности... острый импульс воздействия» в произведениях свидетельствуют о том, что «в них не бывает растянутой во времени повествовательности», что «Кудрявцев неспособен быть созерцательным трезвомыслящим реалистом», что «оборотная сторона» его работы — «содержание, свернутое в глубине произведения».

Последнее, верно подмеченное Кандыбой, свойство кудрявцевских работ становится «оборотной стороной» для зрителя, который не обнаруживает, не распознает «содержания, свернутого в глубине». А разве мощно выраженный «острый импульс воздействия» несовместим с «растянутой по времени повествовательностью» и достаточен для заключения, что художник неспособен быть «трезвомыслящим реалистом»? Не опирался ли в данном случае Виталий Кандыба на анализ определенного этапа развития или даже какой-то одной выставки Джона вне контекста всего его творчества?

«Содержательный образный посыл» являлся для него главным не только в работе, но и в жизни. И сотворение картины, воплощение бестелесного «образа из подкорки» в зримое изображение являлись процессом, осмысленным столь же капитально, как повседневный быт. Содержание, композицию, перспективу, колер каждой работы и каждого дня Кудрявцев обдумывал, планировал, заранее выверял до возможных подробностей. По цветовым сочетаниям в произведениях можно су-

дить о настроении автора и самочувствии Вселенной. Миниатюрно просчитанную соразмерность, подогнанность деталей в общем контексте сюжетов — описывать математическими формулами. По утренним и вечерним прогулкам художника на улице Пушкинской в пору было сверять часы...

Все, что узнавал и видел, мимо чего проходил и рядом с чем останавливался, Джон воспринимал, прочитывал, оценивал именно и исключительно через образ. Образом было он сам, образом была его судьба. Во всем мощно жило подсознательное. Однако размышления-разговоры-признания художника на данную тему вводили в заблуждение. Подсознательного, интуитивного, импровизационного в Джоне было не больше, чем неравнодушной, цепкой созерцательности и трезвой оценки. Все сочеталось. Может быть, мучительно. Но, судя по конечному результату, вдохновляюще. Он создавал себя, творил личную судьбу так же, как писал картины. Это были процессы целенаправленные. Более того — бескомпромиссные. Зрелый, твердо определивший, что такое хорошо и что такое плохо, Джон не искал смысла ни в чем и нигде. Он задавал смысл. Самой, в общем, жизни. Всему творчеству в целом. Каждой отдельно взятой работе.

Смысл становился целью. Джон всегда знал, чего хочет. Что должен сказать, что именно скажет своей картиной. Особенно показательны произведения, которые следует назвать публицистическими. От галереи портретов в краевой газете «Красное знамя», уникального цикла политических карикатур до зримо конкретных или образно обобщенных свидетельств развала великой державы с картинами последовавших за ним народных трагедий. Беспощадно внимательный художник создал образ эпохи. Показал судьбу Родины. Именно в форме «растянутой во времени повествовательности». В высшей степени значимо, что эта (большая, оплаченная десятилетиями жизни) часть его творчества как-то ускользала от внимания искусствоведов. И многочисленные интервьюеры, обожавшие Джона, данную тему предпочитали обходить стороной.

Многих «россиян» сокрушили сумятица, перевороты в умах, растерянность, деформация ценностей, прямая измена делам, заветам, вековым традициям отчич и дедич. Кудрявцева эта беда не коснулась.

Маленькая история, по большому счету характеризующая Джона, случилась в Анисимовке, куда Джон выбрался на пару недель для пленэра. Явилось такое время, когда в самих русских селах, еще недавно кормивших город, стало бедно на столе. Местные ребятишки, из любопытства однажды заглянув к художнику, потом навещали его каждый день. Джон баловал их недорогими конфетами, специально для этого купленными. Сначала мальцы получали угощение просто так, а во второй-третий раз полагалось ответить на какой-то вопрос. Какую книжку читает пострел, кем хочет стать маленькая девчушка, когда вырастет, любят ли они свою Анисимовку... Гости поднимали настроение. Иногда радовали бойкими ответами. Но однажды Джона сильно расстроил пацаненок-второклассник, не сумевший объяснить, что такое Родина. Джон оставил его без вознаграждения: «Иди, спроси у мамы с папой. Скажешь мне». Он плохо спал ночью, думал: придет мальчонка, не придет?

Каждая картина, привезенная из Анисимовки, стала удачей, творческой победой. Но самой большой победой Джон считал гордый, осмысленный взгляд пацана, объявившегося через пару дней после встречи, огорчившей их обоих. Теперь мальчишка, не ожидая вопроса, звонко доложил: «Дядя Джон, я знаю! Родина — наша земля, Родина — мы все, кто живет на нашей земле, наша Родина — Россия!»

Он болел за рябятишек. Страдал. Какими они вырастут? Как, в какой стране будут жить? Боялся. Не случится ли с ними то, что произошло с нами? С родными, друзьями, знакомыми нашими...

Между ним и запутавшимися, неопределившимися, разнокалиберными пере-рожденцами, которые прежде были или казались единомышленниками, сразу вы-растала невидимая, однако непреодолимая стена. Внешне отношения оставались неизменными. Джон посещал их выставки, презентации, публичные мероприятия, невозмутимо встречал и поил чаем, когда они, уже незваные и нежеланные, явля-лись в мастерскую. Но видел все, всех оценивал адекватно. Однако мнения свои держал при себе. В дискуссии, полемики, тем более в перепалки не вступал. С халтурщиками, которых вычислял быстро и безошибочно, называя «браконьерами от искусства», старался рядом подолгу не стоять, в неизбежных случаях ограни-чиваясь вежливо-казенным: «Здравствуй! — Привет! — Как дела? — Спасибо, нормально! — Пока! — До скорой!»

Они могли не догадываться, кем были в его глазах. Он их, если сказать очень мягко, не любил. Встречая в городе давнего знакомого, в прошлом доброго при-ятеля, вдруг невзлюбившего родную землю и возмечтавшего о краях заморских, делал вид, что не заметил. И переходил на другую сторону улицы...

Елена Васильева спрашивала Кудрявцева:

«...а если представить себе общество в культурном смысле продвинутых людей? Например, в Париже, где живет твоя младшая сестра, где развито умение дешифровать загадки искусства... Разве тебе не хотелось бы жить и работать в такой восприимчивой среде?»

Тут надо сказать: эмиграция сестры и старинного друга в Париж стала для Джона пожизненной драмой. Глубоко таимой и оттого еще более болезненной.

А ответ на вопрос прочитаем неторопливо:

«Я мог бы жить в любом городе с населением более миллиона жителей, но только в России. Потому что такой город, как правило, есть место силы (это моя личная теория). В таком городе культурный стержень велик и до-статочен для развития всякого художника. Но в Париже я бы не смог. И потом, в дешифрирование французское не очень-то верю. Умножают во мне это неверие мировые культурные тенденции, которые возвращаются как раз в городах типа Парижа. Они предлагаются нам в качестве культурных истин, они же и формируют массовое сознание. Я-то — русский художник и хочу, чтобы содержательность картины имела 50%+1 акцию, а остальное принадлежало эстетике. А Запад предлагает 90% эстетики и очень куцее со-держание. Так называемое актуальное искусство — в чистом виде индустрия моды. Когда они применили к искусству слово «продукт», художника пере-вернули в производителя полуфабрикатов! Я хочу быть носителем русского искусства. Если я оставляю в чьей-то голове это содержание, — значит, не зря по земле ходил».

Он называл себя человеком закрытым. На самом деле, был мудрым. Распахну-тый навстречу всем, гостеприимный, доступный для общения, с удовольствием и завораживающей виртуозностью ведущий с каждым, кто этого желал, беседу на любую тему, о сокровенном Джон говорил только с самыми близкими. С теми, кто разделял его веру и убеждения. Таких было немного. Они, по преимуществу, жили на малой родине. С земляками-уральцами после призыва на флот Джон обнялся едва ли больше двух-трех раз, но друзья перезванивались, переписывались с ним и знали того настоящего Кудрявцева, которого во Владивостоке не знал почти никто.

Эрудит, дотошный книголюб, поразительно глубоко знавший историю миро-вого и отечественного изобразительного искусства, Джон не болел никакими за-ведомыми предубеждениями и пристрастиями. Он видел мир широко. Трепетно, упоенно, всей душой, принимал все лучшее и красивое в нем, будь оно французское, японское или какое угодно другое. Это никак не мешало иметь предпочтения, со-

знательно выбранные приоритеты, predeterminedенные его происхождением, его уральской породой.

В нем жили две, наверное равновеликие по силе, веры. Русский Бог и русское искусство. В сознании его, в сердце его они сливались воедино и были неотделимы от любви. Бескорыстной, безоглядной любви ко всему подлинному, настоящему, что создал своими руками и талантами человек и что подарил человеку Господь. К небу и земле, к воде и суше. К кораблям, на которых люди уходили в море; к домам, где они набирались сил, вернувшись на единственный, именно их ждущий, отеческий берег. Любви к жизни. К Родине.

Здесь проходила красная черта — граница, сфера, закрывавшая землю Джона от чуждого мира, оберегавшая его планету от катастрофы. Ничто не имело права поколебать его мировоззрения, убеждений, его православной веры. Это и сделало Джона Джоном. Подняло и сохранило его как художника, каким его знали мы и каким он останется навсегда.

